

ПОКУДА ОТЗВУКИ СЛЫШНЫ...

«Наша связь основана не на одинаковом образе мыслей, а на любви к одинаковым занятиям».

Пушкин — Катенину,
сентябрь, 1825

...«Надо устроить вечер», — сказал Лев Озеров.

Была ранняя весна семьдесят шестого. Мы сидели у него в кабинете. И я рассказывал о Вяземском. О том, что литературная репутация, этакий эстетический трилобит, историческая окаменелость, о которой некогда писал Иван Розанов, сыграла привычную для нее злую шутку с этим поэтом. Что не только предсмертный лирический цикл, сочувственно отмеченный позднейшими читателями, но и весь пост-пушкинский Вяземский, чуть не вдвое дольше, чем «при Пушкине», писавший стихи, — не совсем тот, совсем не тот поэт, каким принято его считать — и читать. Что... Впрочем, обо всем об этом я потом написал книгу, она вышла полтора десятка лет назад, пересказывать — вкратце — нет смысла.

Добавлю только, что упомянул я и о разговорах на эту тему — в Питере — с двумя лучшими знатоками творчества Вяземского, с Максимом Гиллельсоном и Лидией Гинзбург, — и оба равно решительно с моими соображениями не согласились.

(Гиллельсон потом, рецензируя для издательства составленную мною книгу лирики Вяземского, попенял на чрезмерное увлечение «поздними» сочинениями — в ущерб полемически-остроумным хрестоматийным пиесам пушкинской поры. Однако через несколько лет, в начале восьмидесятых, он подготовил двухтомник Вяземского, где щедро представил позднюю лирику и написал о ней совсем не то, что было сказано в его же монографии-диссертации конца шестидесятых. А в восемьдесят шестом и Гинзбург, предваряя том «Библиотеки поэта» своею старой статьей, добавила к ней целую главу о позднем Вяземском, оспорив, хоть и не без оговорок, собственные — полувековой давности — письменные размышления на эту тему. О беседах наших оба, вероятно, забыли, бывает. Да теперь это и неважно, так, к слову, не более того...)

Озеров счёл, что именно вечер даст возможность «поверить теорию практикой», испытать найденное и обдуманное в библиотеке, архиве, за письменным столом — на публике неплохо подготовленной, способной и слышать, и думать, и спорить. В Литературном музее. И медлить не стоит. Он как раз завтра собирается на Петровку, и если я подойду туда часам к пяти, познакомит с директором, Натальей Владимировной Шахаловой, тут же всё и решим...

И решили. Шахалова кликнула секретаршу, попросила пригласить Нонну Александровну Марченко, представила нас друг другу, дала понять, что она — «за», а дальше — сами, сами...

Знала бы она — сколь протяженным окажется это «дальше»...

Спасибо Озерову: он определил и наладил наши дипломатические отношения. Шахалова меня не любила. Но, как говаривала Юнна Мориц: «Редактор не должен меня любить. Он должен меня печатать».

Наталья Владимировна ни разу не почтила своим присутствием затеянные нами действия, но и не помешала ни одному из них. Впрочем, речь тут не о ней...

Мы встречались раза четыре — обсуждали то ли план, то ли программу вечера, прикидывали — кого пригласить, то есть кто будет говорить. Получалось ни шатко, ни валко. Пока Нонна не спросила: о чем, собственно, будут говорить сии потенциальные ораторы?

Странный вопрос. Разумеется, о том, что было после Пушкина. О тягостной немотной паузе — и появившихся после нее стихах, каких прежде не бывало:

...Красноречивы и могучи
Земли и неба голоса,
Когда в огнях грохочут тучи
И с бурей, полные созвучий.
Перекликаются леса...

О блистательно задуманной Вяземским и с грохотом провалившейся попытке во второй половине пятидесятых, в пору реформ Александра Освободителя, сделать цензуру гласной и тем самым обесмыслить и обессилить ее, попросту говоря, освободить от крепостной зависимости не только крестьян, но и писателей, заодно лишив лукавых оправданий:

Пенять цензуре нам некстати,
Нам служит выручкой она:
За наши пошлости в печати
Она отвечает одна...

О том, что господствующее общее мнение движется справа налево. И попытка прочертить прямую линию жизни ведет из «вольтерьянцев» в «консерваторы», в одиночество, в отчуждение от младших, много младших современни-

ков, не то ли с Пушкиным случилось бы, проживи он столько, сколько Вяземский...

О «Старой записной книжке», в которой удивительным образом до сих пор не распознали сочинения мемуарного, разве что Набоков одарил своего Пнина замыслом «написать *Petite Histoire* русской культуры, где собрание русских курьезов, обычаев, анекдотов и так далее было бы представлено таким образом, чтобы в нем отразилась в миниатюре *la Grande Histoire* — Великая Взаимосвязь Событий». То есть именно то, что сделал Вяземский на исходе дней своих.

Да много о чем еще, происшедшем в те сорок с лишним лет...

Я читал стихи, цитировал письма и записки, говорил, говорил, говорил... А когда выдохся, Нонна подытожила: никто больше не нужен. Будет монолог. Вот, примерно, такой, как сейчас. Но ведь мы же вечер проводим — не доклад. А это и будет вечер, возразила она: единая — и неожиданная — концепция, но разные мысли, жанры, интонации...

И никакой «экспозиции» — только портрет Вяземского. Из поздних.

Нервничал я ужасно. Настолько, что в первый и в последний раз решил всё написать — и читать. Накануне выступления просидел за столом чуть ли не до рассвета, навалил, как сейчас помню, восемнадцать страниц. Правда, сочинился не текст, скорее конспект. От которого отвлекся, едва произнес три-четыре начальных фразы. А листки те стали чем-то вроде первого наброска будущей книги.

Говорилось легко. Потому что слушали — и слышали. Публики собралось изрядно, знакомые лица — островками. И вопросы задавали — всё по делу.

После вечера «избранные» собрались в рабочей комнате, за чаем. И Нонна сказала, что «всё получилось», напрасно, мол, волновался. Но тут же возразила себе: не напрасно, конечно, такое только и может получиться — на нерве.

А прощаясь, предложила: давайте «придумаем» что-нибудь еще.

Придумали. К осени того же года. Вечер Случевского.

С меня взятки гладки: пришел — сказал — ушел. А Нонна рисковала — и понимала, что рискует. Потому что подобных резкостей по адресу «искровцев» и прочих разночинцев-народников, травивших поэта-одиначку, на поверку оказавшегося предтечей русского символизма, на Петровке, 28, — публично — прежде не слыхивали.

И еще потому, что проведены были внятные параллели с Серебряным веком — и приведенные моим другом, режиссером Лесем Танюком два артиста тогдашнего его — Пушкинского — театра читали «отзвуки» поэзии Случевского: стихи Волошина и Блока, Ахматовой и Гумилева, Ходасевича и Заболоцкого...

Что остается от всех этих вечеров, выставок, концертов, спектаклей? Только воздух, растворивший сказанное, исполненное, услышанное, увиденное. Вдох — и выдох.

И опавшие листья приглашений, каталогов, программ.

Аркадий Штейнберг говорил, что среди бесчисленных маринистов настоящих было только двое: Тёрнер и Айвазовский. Все прочие писали море — выразительно, красиво, эффектно. Но только эти двое умели писать воздух моря, его дыхание.

Я пытаюсь написать о воздухе...

Год спустя. Осень семьдесят седьмого. Волошинский вечер — к столетию.

Первый после смерти Волошина вечер его поэзии состоялся в январе семьдесят третьего, в набитом под завязку Малом зале ЦДЛ. И длился — абсолютный, видимо, рекорд — добрых пять часов, почти до полуночи, пока маленький и пронзительно-крикливый дежурный администратор Дома не пригрозил вызвать милицию и выдворить публику силой. Событие мгновенно обросло слухами, впрочем, реальности не переплюнувшими. Скандал, однако, никому не был выгоден, разве что меня, к организации вечера имевшего некоторое отношение, оргсекретарь Московского писательского союза — отставной генерал КГБ — Виктор Николаевич Ильин распорядился впредь не подпускать к «цэдээльским мероприятиям».

Резонанс тем не менее последовал — и неожиданный. Негласный запрет на имя и творчество Волошина не то чтобы снят был, но как-то шелушиться стал, что ли, и постепенно — местами — облез: на Пречистенском бульваре — в Союзе художников — прошла выставка Волошинских акварелей, два с половиной года (!) пролежав в типографии — и в цензуре! — увидела-таки свет книга «Максимилиан Волошин — художник», появились и публикации стихов.

Наконец, в начале семьдесят седьмого вышел томик стихотворений и поэм в малой серии «Библиотеки поэта». Конечно, без самых весомых сочинений последних пятнадцати лет жизни. Зато с предисловием автора весьма неожиданного, в близости к Волошинским имени-творчеству прежде не замеченного, но то ли парторга, то ли заместителя одного в ИМЛИ, Л. А. Спиридоновой, кандидатскую степень получившей за диссертацию об истории «Сатирикона», в отличие от «эсерской» однофамилицы, литературоведа вполне «эсэсэсэрского», допущенного в святая святых «закрытости» — занятию писателями-эмигрантами и поездкам по сему поводу за рубеж.

Упоминаю об этом столь подробно потому, что в замысле нашего вечера Лидии Алексеевне Спиридоновой отводилась неведомая ей самой, но важная, ответственная роль. Но про то — когда очередь дойдет...

Юбилей отмечали не пышно, но и не скрытно, если не с генералами от культуры, то, по меньшей мере, с полковниками во главе. В Большом зале ЦДЛ вечер вел Сергей Наровчатов. Полтора десятка выступающих, музыка, поющий Козловский. В Доме Художника, что на Кузнецком мосту, зал поменьше и не так многолюден, а на сцене — пятеро: секретарь Союза художников, если верно помню фамилию, Кузин, Сергей Шервинский, Алексей Сидоров, Наровчатов, опять же, и Евгения Завадская.

Всё было чинно-благородно, в поисках консенсуса, вроде бы, преуспели. Секретарь писательского Союза изрек, что Волошин «остался и умер на совет-

ском берегу». А представитель — официальный — художников дополнил, что и картинки его вполне вписываются, так сказать, в контекст пейзажной живописи русской-советской.

И неясным осталось — для непосвященных: почему же так долго молчали-то?...

Про то и заговорили мы с Нонной — я и приятель мой тогдашний Юра Трифонов (он впоследствии прозу стал писать-печатать и от двойного тезки своего отмежевался, взял, если не ошибаюсь, фамилию матери — Кувалдин). Уговаривать не пришлось, единственное сомнение выказала: как «замотивировать», ежели спросят — почему на Петровке вечер устраивают, где восемнадцатый-девятнадцатый века, поэт ведь — из двадцатого?

Договорились, что сошлется на «традицию гражданственности», цепочку протянет: Радищев — Пушкин — Некрасов — Волошин, когда не «гражданином быть обязан», но потому и «гражданин», что «поэт». А кроме того, Волошин, верно, самый историчный из поэтов двадцатого века, из истории русской — для стихов — черпал полными горстями, у него — героями поэм — и Серафим Саровский, и Аввакум, и Епифаний. Так что где же и представлять его, как не в этих древних стенах. И тем легче сие излагать, что — чистейшая правда. Она сказала, что это наглость, конечно, но пусть не она, а ей объясняют: почему «не так». Ну, запретят, в крайнем случае, переживем.

«Доводы» не понадобились — обошлось.

Готовились быстро, но основательно. Тщательно — «сюжетно» — подобрали выступающих. Небольшую — один зал — выставку акварелей, одна к одной, составили, в центре — крупно — фотопортрет, прямо в зал, на публику, глядящий. Сделали макет «Приглашения»: втрое складывающийся разворот-буклет, шесть малоформатных страничек, а на них, кроме собственно приглашения и списка выступающих, — и фото кокетбельского Дома Поэта, и портрет хозяина Дома, и акварель, и большой фрагмент не печатавшегося прежде «Дома поэта», и отрывок из, опять-таки, не публиковавшейся Волошинской статьи.

Юрина жена, Аня Ильницкая, полиграфист, служила тогда в издательской конторе «Патент», где-то в районе Киевского вокзала, взялась пристроить заказ у себя, проследить, чтобы качественно отпечатали. Надо только, коль скоро тексты помещены, получить «добро» от цензуры.

Вдвоем с Нонной поехали к цензору. Приняла нас женщина лет пятидесяти, словно под копирку похожая на тех озабоченных чиновниц, что привыкли мы тогда видеть в жилконторах. Выслушала, глянула на «макетный» листок, порылась в своих папках и сообщила, что... для «Приглашений» любого рода, от квадратика-«билета» до вернисажного буклета, «главлитовской» — цензорской — печати-подписи не требуется, они печатаются «под ответственность организаторов». Я попросил записку-ссылку на сей счет — для типографии, там ничего подобного не выпускали, могут не знать. Она понимающе кивнула, выписала бумажку, шлепнула печать, расписалась...

Неожиданный сюжет получил продолжение. Я рассказал его своему другу Захару Давыдову, одному из считанных тогда «волошиноведов», и он с тех пор ко всем вечерам и выставкам, какие устраивал у себя в Киеве и в Крыму, где регулярно бывал, даже к самым малым, совсем «камерным», стал выпускать неподцензурные буклеты — с неопубликованными стихами Волошина, автопортретами, акварелями, фрагментами статей и писем, воспоминаний современников, этакий легальный «самиздат».

Когда, лет двенадцать спустя, открылась в Москве, в церковке на углу Поварской и Нового Арбата, на шумевшая Волошинская выставка, самой большой ее витрины едва хватило, чтобы вместить целую библиотечку таких изданий.

Но вернусь от эха к звуку.

...Бывшая большая трапезная Петровского монастыря полным-полна. Между столом, где разместились выступающие, и первым рядом публики полуметра не будет. Вечер ведет Аркадий Штейнберг. Ошую — приехавший из Коктебеля Владимир Купченко, Юрий Трифонов, автор этих строк. Одесную — Лидия Спиридонова и географ, доктор наук Юрий Ефремов. И тем, дальним от меня краем стол придвинут почти вплотную к стене, выбраться туда из-за него, выйти из зала — проблема: не протиснешься, чуть не весь первый ряд придется на ноги поднять, в центре внимания оказаться. Сделано это обдуманно, специально. Потому что Спиридонова, ни о чем не подозревающая, охотно откликнувшаяся на предложение блеснуть речью о юбиляре, — «идеологическая» защита, партийный щит музея и лично Нонны Александровны Марченко. Так придумали мы с Трифоновым, Нонну предупредили, что рассказываем неспроста, но сказали не всё — зачем лишний раз волновать человека, она и так понимает, что предприятие рискованное, Спиридонову встретила с особенной любовью, как-никак ИМЛИ, «фирма»...

Напряжение было таково, что и тридцать с лишним лет спустя помню всё подробно, до мелких деталей, могу описать — кто и как одет был и причесан. Так бывало, когда получал на одну ночь что-нибудь из «тамиздата», триста-четыре страницы. Прочитанное запоминалось намертво, фрагментами — дословно, много позже, когда издано было, оказалось в свободном и безопасном доступе, перечитывать было — без надобности...

Начинает Штейнберг — мгновенно прибирает внимание зала к голосу, говорит замечательно, акустика здесь превосходная, читает стихи: «В дождь Париж расцветает», «Обманите меня, но совсем, навсегда», потом — из «Путями Каина»:

...Смысл воспитания —
Самозащита взрослых от детей.
Поэтому за рангом палачей
Идет ученый комитет компрачиков,
Искусных в производстве
Обеззараженных,
Кастрированных граждан...

Зал замирает. «Товарищ Спиридонова» глядит на оратора слегка тревожно, он тут же меняет регистр — звучит «Микеланджело», перевод из Верхарна.

Купченко — о Коктебеле, об архиве, об идее создания музея, завершает, естественно, «Домом поэта».

Трифонов говорит коротко, читает дольше, выбрал стихотворений пять, исполнение — под статью выбору, даром ли занимается он в студии Ясуловича, где не только спектакли ставят, но и поэтические вечера проводят.

Четверть часа перерыва-перекура, звать обратно в зал никого не приходится — все нетерпеливо, чуть не мгновенно рассаживаются. Черед Спиридоновой. Она эмоционально, с нажимом, исполняет вариации на тему того, что уже написала в предисловии, стихов не читает, но подчеркивает, что поэт не просто был «невраждебен» к власти, а принял ее, что «Волошин умер советским поэтом», вероятно, это — «домашняя заготовка», потому что в финале фраза повторяется. С восклицательным знаком.

А потом у дальнего угла стола, в двух шагах от нее, поднимается Валерий Хлевинский. И читает «Россию». Первое публичное исполнение поэмы.

...Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет, к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка
К осуществленью правды на земле...

В центре Москвы, под сводами бывшего монастыря, это звучит совсем неплохо...

Можно представить, как нелегко после этого пришлось Ефремову, но он справился — умно и темпераментно размышляя о «космогонии» Волошина, о его пантеизме, о метафизике творчества.

Концепция «советского поэта» рассыпалась — в пыль...

Когда всё кончилось, Спиридонова, перехватив меня тут же, у стола, заката формульный выговор, дескать, знай она, что тут будут такое, ни за что бы не пришла. «Ну, что вы, Лидия Алексеевна! — с самым невинным, на какой только был способен, видом, возразил я. — Ничего такого, чего вы раньше не читали, не знали, здесь и быть не могло». И добавил, что вообще-то, я бы предпочел, чтобы Волошин не «умер советским поэтом», а еще немного пожил...

Было ясно, что распространяться в ИМЛИ о своих впечатлениях она не станет, не доносить же на себя, когда вот-вот предстоит защита докторской. И оставалось только надеяться, что среди публики не найдется другого доброхота-стучака. По счастью, не нашлось.

Впрочем, Нонна отнеслась к той опасности спокойно: дело сделано, а ежели что — отобьемся.

В ней не было ни капли «диссидентства» политического. Но любовь к поэзии включает в себя инакомыслие — по определению.

Это не было смелостью. Просто хотелось — хоть иногда — нормально подышать...

Еще два слова — о Спиридоновой. Год спустя она защитила докторскую. А в конце семьдесят девятого была откомандирована в Париж — выступать на конференции, посвященной столетию со дня рождения Евреинова.

Много позже, в девяносто третьем, в Париже, Ефим Григорьевич Эткинд рассказал мне, что в самом начале своего выступления Спиридонова напомнила собравшимся, что в эти же дни — еще один столетний юбилей: Иосифа Виссарионовича Сталина.

Эткинд, ведший то заседание, был вынужден ее прервать, заметив, что Лидия Алексеевна, вероятно, перепутала конференции.

Воротившись в Москву, я потешил этой байкой Нонну. И тогда она вдруг сказала, что именно с того, с Волошинского вечера, давным-давно, она знает, что мы — свои...

Эпизоды, фрагменты, пунктир... Стройная фабула воспоминаний — плод воображения, художества. Дорога не запоминается — остаются вешки, впечатления, эхо пройденного.

Я лишь недавно сообразил, что почти всё историко-литературное, сделанное за двадцать лет, до середины девяностых, было так или иначе связано с Нонной.

Ей пришлось заниматься в музее не тем, скажу осторожней — не совсем тем, к чему тянулась и готовилась в университетские годы. Она сумела это полюбить, но все же, думается мне, с удовольствием ушла с Петровки в Хрущевский переулок, заведовать музейными фондами от восемнадцатого до начала двадцатого века.

Почти сразу после этого, в восемьдесят первом, появился там и я. Закончил книгу о Вяземском — и отправился подбирать иллюстрации к ней.

Коль скоро о поэте речь, то и рифмы естественны. С Вяземского началось знакомство. Теперь мы пили чай, разговаривали, работали «на Чертолье», в трех минутах ходьбы от располагавшегося некогда в начале Пречистенки обширного Колымажного двора, где он родился.

Длинный полутемный коридор, пещера, полная сокровищ. Теми, что меня интересовали, «девятнадцатым веком», ведала Елена Малиновская. Позже она призналась мне, что ужасно трусила — та работа стала для нее первой по-настоящему профессиональной. И то, что занималась ею — от начала до конца — об руку с Нонной, было школой.

Получал я и подарки нечаянные. Так, однажды, придя в условленный час, был представлен в коморке, служившей чем-то вроде столовой, приветливой даме преклонных лет, оказавшейся недавно вышедшей на пенсию многолетней

хранительницей одного из фондов-запасников Ленинки, что в Химках. И там, у нее, на стеллажах, с конца тридцатых нетронуто покоилась... библиотека трех поколений князей Вяземских, от Андрея Ивановича до Павла Петровича, что вывезена была из Остафьева, когда в одночасье прихлопнули тамошний музей-усадьбу, и считалась давно распыленной по разнообразным книгохранилищам...

Оформлявший книгу о Вяземском художник Олег Айзман, внимательно перелистав принесенный мною «материал», порасспросив о доброй половине картинок, сказал, что за два десятка лет книжной своей деятельности ни разу не видывал столь подробной, эффектной, профессиональной работы.

Моя заслуга в том была не так уж и велика. Мне повезло...

Несколько лет спустя, уже в перестроечное время, там же, в Хрущевском, возникал образ одноклассника Владислава Ходасевича «Колеблемый треножник». Книги, о которой Нина Берберова сказала профессору-слависту Джону Малмстаду — и попросила, при случае, передать мне, — что лучшего издания Ходасевича она не видела.

Думаю, что она имела ввиду, конечно, не только «тексты», их подбор и композицию, но — более того — те без малого две сотни иллюстраций — портреты, фотографии, рисунки, автографы, обложки и титулы, с инскриптами и без, редких книг, — которыми стихи и проза в книге подсвечены и высвечены.

И тут не обошлось без хитростей. Хранительница этого фонда (начало двадцатого века) Наталья Кайдалова на несколько месяцев убыла во Францию. Заглянуть в ее «хранение» заведующая отделом Н. А. Марченко могла разрешить, но для работы в этом фонде («самовольного», в отсутствие хранителя, перелистывания десятков и десятков папок, отбора, пересъемки) требовалась «виза» директора, получение коей выглядело сомнительным. И Нонна предложила: пусть в издательском письме будут указаны другие фонды — девятнадцатый век и «фотографии», в конце концов, мало ли что может «побочно» понадобиться для такой книги. «Ну, а когда книга выйдет?» — спросил я. «Тогда и будем думать. Да и забудет к тому времени директор».

Мой приятель и бывший коллега по журналу Александр Банкетов, возглавлявший в «Советском писателе» редакцию, где делалась книга, с видимым удовольствием подписал эту «липу». И я получил «кайдаловский» фонд в свое распоряжение.

И пока всё не перерыл, приходил, хотел сказать «как на работу», но нет, просто, без «как», дважды в неделю, по вторникам, когда у себя в редакции не бывал, и пятницам, когда не появлялся там «главный». Сидел часами, показывал и обсуждал «находки», Нонна — по документам — выясняла их «музейное происхождение».

В передышках, по обыкновению, пили «чай с разговорами». На сей раз не в «столовой», а в соседней комнатке без окон, где едва уместались стол и три стула. И еще один Ноннин подарок. Однажды, явившись туда, обнаружил на

стене, где прежде висел какой-то натюрморт с фруктами, портрет Ходасевича, написанный в девятьсот пятнадцатом его племянницей Валентиной, ныне — один из самых известных его портретов. Под ним с тех пор и сиживал — за чашкой чая...

Найденное — примерно десятая часть вошедших в том иллюстраций, но — ключевая. Не только потому, что там хранятся почти все основные портреты Ходасевича и несколько уникальных фотографий, но и, главным образом, потому, что довольно внятно вырисовалось дальнейшее: что еще можно искать — и найти — и где искать. Вкупе с тем, что тогда же было отобрано и отснято в РГАЛИ, оно было передано Алексею Наумову, и он уже довел дело до конца, добавив, конечно, и свои, очень интересные разыскания...

Два шага-реплики «в сторону». От Хрущевского.

Отступление первое. В те дни посетил меня приехавший в Москву на несколько месяцев — поработать в библиотеках и архивах — американский славист Роберт Сильвестр. Тот самый, что еще в пятидесятых вместе с Берберовой подготовил и выпустил в эмигрантском «Издательстве имени Чехова» книгу Ходасевича «Литературные статьи и воспоминания». То бишь личность для меня почти легендарная. Рассказал, что нравится ему хозяйничать в однокомнатной квартирке, которую снимает, ходить по магазинам (действие происходит, напомню, в конце восьмидесятых, кто жил тогда в Москве, о магазинах вспоминает не без дрожи), варить борщ, яичницу жарить. Что в Ленинке работая, сделал открытие: существовал такой в русской поэзии никем толком не замеченный и потому не исследованный жанр, называется «романс», и были даже «классики жанра», авторы, когда-то известные, но совершенно забытые, например, Ратгауз. У меня, правда, на столе в соседней комнате лежала составленная Валентиной Мордерер и Мироном Петровским и подготовленная к сдаче в издательство, которое, впрочем, еще не было найдено, рукопись тома «Русский романс на рубеже веков», однако мне, кажется, удалось сохранить серьезный вид внимательного слушателя. Потом сообщил, что знаком с некоторыми моими публикациями, связанными с Ходасевичем. И поинтересовался — чем теперь занимаюсь. Да тем же, чем всегда, отвечаю, всем, что мне интересно, от Ломоносова до Шенгели. Он кивнул. Почему-то произнес слово «компаративистика». И видимо потерял ко мне интерес. Только спросил, не знаю ли «случайно», где бы он мог увидеть портрет Ходасевича работы Валентины Михайловны, а также познакомиться с другими ее картинами и архивом. Записал, что картины, по завещанию, отошли к вдове академика Капицы, архив — к вдове Всеволода Иванова, Татьяне Владимировне, я продиктовал оба телефона. А потом позвонил Нонне — не покажет ли портрет? И передал ему трубку — договариваться о встрече. На том и расстались.

Вечером следующего дня — звонок. Нонна. «Ты мне странного какого-то американца прислал, — говорит, — он перед портретом поахал, потом я ему другие «наши» изображения Ходасевича показала, он повертел их и спрашива-

ет: а кто у вас Ходасевичем занимается? Отвечаю, что ты. «Его я знаю, — кивает. — А из специалистов?» И я растерялась»...

У нас потом это прищказкой стало. Надо что-то выяснить-уточнить, например, о Мандельштаме. Я предлагаю: «Спросим у Гаспарова». Нонна не упускает случая: «А из специалистов?»

Отступление второе. Том Ходасевича готов к отправке в типографию, в Ленинград. В художественной редакции «Советского писателя» на трех больших, сдвинутых по такому случаю столах художник Алексей Томилин разложил иллюстрации — в том порядке, в каком будут напечатаны. Книга, понятно, получится, увы, не такой красивой, как эта «выставка», развернутая на пару часов. Народу издательского набралось человек пятнадцать — событие! Мы с Алешей Наумовым даем пояснения. А в соседней, смежной и темноватой комнатке, за своим столом сидит главный художник издательства, Владимир Медведев. Он уже всё это видел, одобрил и сейчас занят какими-то своими срочными делами.

Внезапно — никто не заметил, как он вошел, — у стола возникает директор издательства, Владимир Еременко, невысокий, плотный, солидный, из бывших работников ЦК партии. «Что это а вас? А, Ходасевич... Да-да... Очень много... Мне тут из Ленинграда звонили, сказали, что книга получается слишком дорогая, никто не купит. Так что надо бы сократить всё это. Наполовину. А лучше — на две трети»... Не то, чтобы приказ, так, весомое указание, привычка дважды не повторять...

И тут я вижу — боковым зрением — возникающую тень: Медведев медленно поднимается из-за стола и так же медленно, тяжело ступая, направляется к директору. Он на полторы головы выше, много шире в плечах, хотя привычно сутулится, сильные кисти длинных рук сжимаются в кулаки. Он надвигается на директора, нависает над ним и вбивает в него слово за словом: «Вас поставили сюда руководить культурным делом! Вы, конечно, в нем ничего не понимаете! Так хотя бы вид должны делать, что думаете! И не позориться!» И Еременко ежится, пятится к двери, исчезает...

Книга вышла такую, как была задумана.

А история эта имела «в фондах» большой успех...

Последней крупной музейной работой Нонны стала выставка к двухсотлетию Вяземского. Осень девяносто второго. Сивцев-Вражек. Дом Аксаковых.

Время смутное, не до культуры. Денег — меньше, чем в обрез. О каталоге — нет речи. РГАЛИ, отпочковавшийся некогда от Литературного музея, прежде безотказный, на сей раз не дал на выставку ни-че-го. Ссылались на проблемы со страховкой, оплатить которую некому. Думаю, отговорка — работать тогда, за совсем уж ставшую условной «зарплату», мало кому хотелось.

Обошлись без них.

Я, признаться, не помню другой такой согласованной, бесконфликтной, увлеченной работы над выставкой. А ведь делали ее, кто от начала до конца,

кто — фрагментами, десять человек. И у каждого — свое представление о том, каков должен быть результат.

Я всегда больше любил не вернисаж — и не канун его, когда всё уже готово и можно выдохнуть, перевести дух, но самое начало, которое всего ближе к искусству, где целое возникает раньше отдельных частей, и только потом художник пытается реализовать, воспроизвести его — из того, что удастся сыскать, придумать, получить в свое распоряжение, суметь, наконец. Оно никогда не будет таким, как увиделось впервые. И критика может автора оцарапать раздражающе, но не более того, потому что он знает — как могло быть, а критик — лишь то, как получилось.

Так было и здесь: из туманных поначалу идей, из разговоров, из этих звуковых колебаний воздуха постепенно проступил отчетливый графический контур, и картинка, вещи, бумаги стали вписываться, включаться в него, стали аукаться, перекликаться, создавать собственные, подчас неожиданные сюжеты...

Пять залов, из коих лишь один — «Пушкинский». Акцент — на вторую половину жизни. Маршрут — от Остафьева до Баден-Бадена.

На вернисаже — не протолкнуться. Нету лишь музейного начальства. Но оно и к лучшему — так раскованнее, более в духе героя торжества.

Нонна радостна и тревожна одновременно: приехала приглашенная ею Наталья Николаевна Гончарова — из лучших знатоков культуры той эпохи, прежде всего, портретной графики, но и костюма, нравов, взаимоотношений, ситуаций и прочего, из чего и происходит понимание. За консультациями к ней, в Исторический музей, — очередь. Нонна числит ее среди своих учителей (и далеко не она одна — многие музейщики, девятнадцатым веком занимающиеся). Почтительно сопровождает по всей выставке, ловит каждое слово, ждет общей оценки, на которые Гончарова, как всем известно, не щедра. И, дождавшись, подлетает ко мне: «Ей понравилось! Очень!»

На следующий день — конференция, к ней готовились, едва приступили к выставке, параллельно, всё это время. Редкий случай — все, кого хотели мы видеть-слышать, не только согласились выступить, но и пришли, ничто не помешало.

Десять докладов... плюс реплики, вопросы, обсуждение — полный рабочий день с перерывом на обед. И ни одного «дежурного», компилятивного выступления, все подготовлены специально к этому дню, все — по делу. Тоже нечасто бывает.

Гончарова — тоже здесь. Рассказывает об исследовании попавших когда-то из Остафьева в их музей рисунках П. Ф. Соколова — о трех карандашных портретах-набросках, в которых ей удалось опознать Карамзина, его жену и — гвоздь программы! — самого князя Петра Андреевича. Шторы задернуты, свет погашен, на экране проектора — диапозитивы. О каждом — подробно, с указкой: характер штриха, позволяющий судить о времени рисунка, угадывае-

мые детали костюма, черты сходства с другими портретами художника и отличия от них. Очень профессионально и убедительно.

В перерыве Гончарова уезжает. Нонна подходит ко мне: «Как тебе Наталья Николаевна?» — «Очень интересно. Вот только...» — «Что?» — «Это — не Вяземский. Хотя доклад, сам по себе, совсем неплох». — «Но почему?» — «Потому что — не он. Соколов должен был весьма посредственно рисовать, чтобы допустить столько несходств с другими портретами, их, сама знаешь, немало. А он был портретист замечательный». — «Тогда — кто это?» — «Не знаю. По-моему, ошибка понятна: Гончарова для своих атрибуций привлекла только домочадцев, и была бы права, если не об Остафьеве говорить, а о московском доме Вяземских. А в Остафьеве обыкновенно бывало немало гостей, и подолгу. Соколов несколько раз жил-рисовал у Вяземских именно в Остафьеве: мало ли кого набросал. Тут надо выяснять — кто бывал там одновременно с ним, добывать изображения, сравнивать, что, конечно, дело невозможное. Так что ответа на твой вопрос не существует»...

От великого до смешного...

А потом была книга. «А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» в силуэтах В. Гельмерсена».

Книга Нонны.

Она обнаружила в фондах пожелтевшую верстку, перелистала, взгляделась, полюбила. Документ за документом, шаг за шагом проследила драматическую судьбу книги и трагическую — автора замечательных иллюстраций.

Василий Васильевич Гельмерсен, скромный библиотекарь Эрмитажа, попробовав однажды на досуге изготовить картинку-силуэт, увлекся этим делом и через несколько лет стал мастером. Его работы понравились пушкинисту Н. О. Лернеру, и тот задумал издать таким образом, верней сказать, в таком образе «Онегина». Книга была сделана в конце девятьсот десятых годов. Но издание тогда не состоялось. Вторая попытка была предпринята Литературным музеем в тридцать седьмом, к столетию со дня гибели Пушкина. И тоже не удалась. Четыре года спустя третья попытка почти увенчалась успехом. Книга была сверстана, подписана к печати. Пятого июня 1941 года...

А Гельмерсен еще в начале тридцатых пополнил массу зеков на строительстве Беломорканала, и след его затерялся в ГУЛАГе. Дату смерти Нонне выяснить не удалось...

(Написав эту фразу, я подумал, что сейчас, полтора десятка лет спустя, поиск может оказаться успешней. И позвонил в Москву Никите Охотину. Ему понадобилось несколько минут, чтобы, раскрыв «Мартиролог» петербургского «Мемориала», сообщить, что Василий Васильевич Гельмерсен был расстрелян девятого декабря 1937 года в одном из Карельских концлагерей.)

У меня в конце восьмидесятых — начале девяностых был недолгий, но бурный «роман» с издательством «Московский рабочий»: пригласили в редсовет, к рекомендациям прислушивались. И я переговорил об этом «Онегине» с Ириной Мстиславовной Геникой, редактором первой сделанной мною книги Сигиз-

мунда Кржижановского. Она заинтересовалась. Через несколько дней привел к ней Нонну. Но познакомить не успел — они глянули друг на друга удивленно: «Ира»... — «Нонна»... Оказалось, что были сокурсницами в МГУ. Но с тех пор не встречались...

Нонна включила в книгу статьи А. М. Эфроса и А. А. Сидорова, написанные для второй и третьей попыток издания, добавила небольшой очерк о Гельмерсене Э. Ф. Голлербаха, написала и сама, по моему, превосходно.

Генина попросила меня сочинить отзыв о предлагаемой книге — для обсуждения на редсовете и включения в план. И, прочитав написанное — тут же, у нее за столом, сказала, что, вероятно, это — самая короткая «внутренняя рецензия» в издательской истории.

Там было две строки: «Ознакомившись с предлагаемой Н. А. Марченко книгой, я считаю, что выпуск ее в свет делает честь издательству „Московский рабочий“».

...Я раскрыл подаренный экземпляр, прочитал надпись: «Дорогой Вадим! Без Вас — ничего этого не было бы»... С чего бы это вдруг — «на Вы»? После десятка лет — «на ты». Нонна пожала плечами: «Сама не знаю. Мне показалось, что так — торжественней. Все-таки — дебют»...

В девяносто пятом она ушла из музея. В одночасье. После короткого и резкого разговора с директором. Подробностей не знаю. Не расспрашивал, решив: захочет — сама сообщит. Но она сказала только: «Больше не могу»...

Переживала этот разрыв тяжело, рубец, по-моему, так до конца и не затянулся. Хотя совсем скоро уже работала по соседству: Наталья Ивановна Михайлова пригласила ее в Пушкинский музей.

Мы перезванивались. Она говорила, что привыкает потихоньку, чувствует себя неплохо. Через несколько месяцев позвонила: «Знаешь, и вправду — всё к лучшему. Я теперь занимаюсь тем, чем давно хотела: много читаю, думаю, пишу»...

Так появилась книга «Приметы милой старины». Я поздравил Нонну. Но к подарку отнесся не без опаски: ну, что, казалось бы, еще можно добавить к целой библиотеке, созданной на тему «быта и нравов пушкинской эпохи» чуть ли не за столетие? Конечно, сумею придумать всякие хорошие слова, но ведь мигом распознает, что утешаю, чутьем Бог не обидел.

Оказалось: очень даже можно — без этой книги библиотека не полна. Написано тонко, умно, свободно. Хорошо. Интересное чтение, сытное.

Позвонил — и всё это сказал. Она смутилась: «Знаешь, я ведь робела»... — «Ну, я и отзыв написал, правда, совсем короткий». — «Прочитаешь?» — «Естественно».

Что нам печалиться судьбою,
Покуда отзывы слышны
Из тех краев, где мы с тобою —
Приматы милой старины!..

Пауза. Потом — сквозь смех: «Спасибо»...

Тринадцатого апреля две тысячи седьмого я пригласил Нонну на свой вечер — в клуб «Улица ОГИ», что на Петровке, 26, во дворе, «строение» номер какой-то, не помню точно. Когда сговаривались, вдруг — ко взаимному недоумению — выяснили, что не виделись больше двух лет, только перезванивались, когда я появлялся ненадолго из своего туманного германского далека, что двух моих последних книжек она не знает...

Будний день, все — с работы. Транспорт в Москве — известно какой. Я предупредил организаторов, что начну получасом позже назначенного — чтобы опаздывающие не мешали ни мне, ни публике. Чуть ли не в последний момент — звонок по мобильному — Нонна, говорит, что никак не может найти этот самый клуб. Я объяснил. Она появилась пять минут спустя, с подружкой, познакомила, посетовала, что заблудилась. В двух шагах от места нашей первой встречи, от музея, где прослужила (мне слышится тут «служение», а не «служба») четверть века. В зале устроилась рядом с Ириной Николаевной Врубель, с которой издавна приятельствовала, а я дружил тридцать лет, с тех пор, как впервые пришел к ней, в Пушкинский музей.

После чтения и вопросов-ответов слушатели стали раскупать разложенные организаторами на импровизированном прилавке мои книжки. Автографы, разговоры, лестная суета...

Нонна подошла на минутку — поблагодарить и попрощаться, жаль, что не может задержаться, но домой еще добираться — далеко, долго. Созвонимся...

Часом позже, зайдя в кафе на Никитском бульваре, глотнуть кофе и отдышаться, позвонил Врубель — выслушать впечатления, это было у нас вроде традиции, она бывала на всех моих вечерах. И заодно узнал от нее, что Нонна хотела купить мои книжки, но денег с собою не захватила. Я даже слегка обиделся на нее: почему не сказала мне запросто, что за деликатность такая! И тут же отправился к Ирине Николаевне, благо, близко, в Староваганьковский, оставил-надписал обе книжки, Нонне за ними зайти — с Пречистенки — не проблема...

Воротившись к себе, около полуночи, набрал номер. Ей всегда можно было звонить допоздна — «сова». Она обрадовалась, заговорила о вечере, потом о домашних своих заботах, о внуке, о мытарствах с изданием новой книги. Голос шелестел усталостью. Я сказал, чтобы забрала у Врубель книжки, что неправильно — вот так, не встречаться, но теперь уже не успеем, послезавтра улетаю домой, снова прилечу в конце осени — отмечать столетие Штейнберга, непременно свидимся, поговорим...

Не поговорили...